



Протопресвитер Г. ШАВЕЛЬСКИЙ

Последний самодержавный всероссийский император

<Фрагмент>

<...>

В конце 1916 г. ставленники Распутина уже фактически держали в своих руках управление. Обер-прокурор Св. Синода Раев, его товарищ Жевахов, управляющий канцелярией Св. Синода Гурьев и его помощник Мудролюбов были распутинцами. Эту же веру исповедовали митрополиты Питирим и Макарий. Целый ряд епископов епархиальных и викарных были клиентами Распутина. Намечены уже были новые митрополиты. «Что же ты не постарался для Серафима?»*, — обратился в конце ноября 1915 г. к Распутину ктитор Феодоровского собора, полк. Д. Н. Ломан, недовольный тем, что Петроградским митрополитом был назначен Питирим, а не Серафим. «Пусть обождет! Вот умрет Московский**, — тогда и ему дадим»***, — был ответ Распутина. Еп. Мелхиседека императрица называла «будущим митрополитом»****. Все это уже становилось несчастьем для Церкви. Теперь лучшие представители Церкви — талантливые, просвещенные, чистые и неподкупные, не мирившиеся с распутинским засильем или просто не искавшие распутинского благоволения, — или ставились под подозрение, или оставлялись в тени. На вершину же власти выплывали ничтожества, карьеристы, искатели приключений, люди с сожженной совестью (Тим 4: 2), готовые

* Чичагова, архиеп. Тверского, с образованием Пажеского корпуса.

** Престарелый Макарий, переживший, однако, и Ломана, и Распутина.

*** Передаем со слов Ломана.

**** Ее предсказание сбылось: сейчас он митрополит в революционной обновленческой церкви.

служить каким угодно «богам», лишь бы достичь своих честолюбивых замыслов и корыстных целей.

И к такому положению Церковь была приведена не каким-либо своим злостным врагом, а православною, благочестивою, стремившеюся к ее устройению и, вне всякого сомнения, желавшею ее расцвета и благоденствия, императрицею.

Разделял ли государь распутинское увлечение своей супруги?

Факт тот, что государю все время приходилось выдерживать атаки против Распутина. О чрезвычайном вреде близости Распутина к царской семье, о его пьяных дебошах и оргиях, как и о его сношениях с разными темными дельцами, императору говорили: императрица Мария Феодоровна, вел. кн. Елисавета Феодоровна и Ольга Александровна, вел. кн. Николай Николаевич и Николай Михайлович, министр Двора гр. Фредерикс, дворцовый комендант ген.-адъют. В. А. Дедюлин, начальник походной канцелярии Его Величества, — свитские генералы кн. В. Н. Орлов и А. А. Дрентельн, министры — Коковцев, Сазонов, Макаров и Покровский, командир Корпуса жандармов свитский генерал В. Ф. Джунковский, фрейлина Софья Ивановна Тютчева, начальники штаба Верховного Главнокомандующего — генералы М. В. Алексеев и В. И. Гурко, обер-прокурор Св. Синода А. Д. Самарин, председатель Думы Родзянко и мн. др. А из духовных лиц: епископы Феофан (Быстров), Гермоген и военный протопресвитер.

На эти доклады государь реагировал по-разному. Чаще всего он выслушивал докладчика по видимости совершенно спокойно и молча. На сообщения о дебошах, оргиях и т. п. иногда отвечал коротким: «Я это знаю». Военного же протопресвитера после его доклада спросил: «А вам не страшно было идти ко мне с этим докладом?» Иногда, как в середине июля 1915 г., после доклада гр. Фредерикса, обещал удалить Распутина. Бывали и такие случаи, что доклады* исторгали у государя слезы и он со слезами обнимал и целовал докладчиков. Но от всех докладов результат получался один: Распутин продолжал оставаться в своем чине «царского Друга» и с каждым днем входил во все большую и большую силу. Докладчиков же постигала неутешительная участь. Некоторые жестоко расплачивались за свою смелость сказать царю правду: С. И. Тютчева была удалена от должности

* 7 ноября 1916 г. доклад вел. кн. Николая Николаевича и 9 дек. 1916 г. П. М. Кауфмана, б. министра нар. просвещения, первого чина Двора, члена Гос. Совета в 1915–1916 гг., состоявшего при Ставке в качестве заведующего краснокрестною частью в армии.

воспитательницы царских детей, Джунковский — товарищ министра внутренних дел и командир корпуса жандармов — уехал на войну командовать бригадой 8 Сиб. стр. дивизии; самые близкие к государю лица — генералы кн. Орлов и Дрентельн были отправлены: первый на Кавказ, а второй на театр военных действий командовать лейб-гвардии Преображенским полком; Самарин — уволен от должности обер-прокурора Св. Синода; вел. кн. Николай Михайлович — выслан из Петрограда на юг в свое имение; П. М. Кауфман* чрез месяц после своего, вызвавшего у государя слезы, доклада был выслан из ставки, а затем вычеркнут из списка участвующих в заседаниях членов Гос. Совета**; вел. кн. Елисавету Феодоровну почти перестали принимать в Царском Селе; даже смещение вел. кн. Николая Николаевича стояло в большей связи с его походом против «Друга», чем с военными неудачами, и т. д. Других докладчиков пока терпели. Но императрица немедленно зачисляла их в синодик своих врагов, а у императора, после их доклада, оставался осадок горечи, и он, при решительном натиске императрицы, готов был расстаться с каждым из них. До самых последних дней государь предпочитал расставаться с самыми верными и преданными ему сотрудниками, чем расстаться с Распутиным. Между тем, казалось бы, многое должно было отталкивать государя от Распутина: государь терпеть не мог грязи, в чем бы она ни проявлялась, — Распутин же был развратный, грязный мужик; государь был образованный, ясно и просто мыслящий человек; Распутин был невежествен, в словах и мыслях сумбурен; государь был всегда благороден и деликатен. — Распутин груб и нахален. Распутин мог производить впечатление на истерические или особо впечатлительные, болезненно-мистические натуры — государь не был ни истериком, ни особенно впечатлительным человеком. Казалось, должны были заставить государя задуматься и по меньшей мере возможно сдержаннее относиться к Распутину и те страшные, зловещие слухи и разговоры, которые, сплетаясь около имени Распутина, с каждым днем все сильнее захватывали и волновали и общество, и Государственную Думу, и печать, и, наконец, всю армию и, дискредитируя бывший для народа священным авторитет царя и царицы, явно разрушали устой царского трона.

* Бывший министр, первый чин Двора, во время войны возглавлявший краснокрестовское дело в армии.

** Письма императрицы Александры Феодоровны к императору Николаю II. Берлин: Кн-во «Слово», 1922. II, 269.

Не подлежит никакому сомнению, что государь не питал к Распутину тех восторженно-благоговейных чувств, какими было преисполнено сердце императрицы, и не испытывал большой нужды в общении с ним. Иначе нельзя было бы объяснить того факта, что в течение 1 1/5 лет пребывания государя в ставке Распутин ни разу там не появлялся, и в разговорах со своими приближенными государь ни разу не произнес его имени. Но, с другой стороны, было бы ошибочным утверждение, что государь совсем равнодушно относился к Распутину. «Их величества говорили, — пишет самый близкий человек к семье императора Николая II, фрейлина А. А. Вырубова (Танеева)*, — что они верят, что есть люди, как во времена апостолов, не непременно священники, которые обладают благодатью Божией и молитву которых Господь слышит. К числу таких людей, по их убеждению, принадлежал и М. Philippe, доктор философии, который бывал у их величеств»**. К их же числу их величества скоро отнесли и Распутина.

Что и государь верил в чрезвычайность благодатных дарований Распутина, это видно из того, что он относился к нему, как обыкновенно относятся к духовным лицам: просил его молитв и благословения и даже будто бы иногда целовал его руку. Об этом приходилось слышать от приближенных государя. Это же подтверждает и А. А. Вырубова в своей книге***. Для их величеств, — добавляет Вырубова, — Распутин был «олицетворением надежд и молитв»****.

И все же государь непременно расстался бы с Распутиным, если бы заступницей последнего не являлась властная, настойчивая, непреклонная императрица, совершенно подчинившая себе слабовольного своего супруга. Близкие к государю лица рассказывали, что одному из «докладчиков», настаивавших на удалении Распутина, именно П. А. Столыпину, — он ответил: «Лучше десять Распутиных, чем одна истерика императрицы»*****. Иногда государь, как это мы видели в истории назначения Самарина, даже давал обещание расстаться с Распутиным, но после этого

* Танеева (Вырубова). «Страницы из моей жизни», 1923. С. 81.

** Известный французский авантюрист, имевший на царскую семью в начале 1900-х годов большое влияние. См. Письма имп-цы А Ф. I, 117, 135, 202; II, 53, 75, 242, 262. Граф С. Ю. Витте. «Воспоминания», 1922. Т. II, 251.

*** А. Танеева (Вырубова). «Страницы...» С. 91. Она лишь не упоминает, что государь, получив благословение, целовал руку Распутина.

**** Там же. С. 84.

***** М. Бок. «Жизнь П. А. Столыпина» (Воспоминания об отце). «Возрождение», 1936. 17. II. № 3911.

следовал решительный протест императрицы, и царское слово оставалось не исполненным. Вспоминаются слова вел. кн. Николая Николаевича в беседе с военным протопресвитером 7 ноября 1916 г.: «Дело не в Распутине, а в ней, только в ней; уберите ее, посадите ее в монастырь, и государь станет иным, и все пойдет по-другому. А пока всякие меры бесполезны».

Полонив царицу, а чрез нее и царя, Распутин оказывал большое влияние на управление Русской Церковью. Как ни печален этот факт — ни отвергнуть, ни замаскировать его нельзя. В последний предреволюционный год Распутин фактически назначал и обер-прокурора, и митрополитов, и высших чиновников синодального ведомства.

Что же такое представлял собою Распутин? В чем секрет его необычайного в истории временщичества?

В тогдашнем светском обществе довольно распространен был взгляд, что Распутин был ловким проходимцем, сумевшим подчинить себе и царя, и царицу, а с последней даже вступил в нечистую связь.

Последнее является злостной клеветой на царицу, ни душой, ни телом не повинную в приписываемом ей грехе. В 1915 г. бывший начальником походной канцелярии государя и самым близким к нему лицом кн. В. Н. Орлов, считавший величайшим несчастьем дружбу Распутина с царской семьей и ненавидевший царицу как главную виновницу такой дружбы, говорил пишущему эти строки: «Я много дал бы, если б я имел какое-либо основание сказать, что царица находится в нечистой связи с Распутиным. Но я не могу это сказать, ибо этого нет и не было». Адмирал Нилон и другие близкие к царской семье лица, подобно кн. Орлову, с ужасом следившие за распутинской историей, также решительно отвергали всякие подозрения относительно нечистых отношений между царицей и Распутиным.

Но почти так же неверно представление о Распутине как о ловком проходимце. Проходимцы сами идут к цели, лукавя, притворяясь, маневрируя, лицемеря, не брезгая средствами, не останавливаясь пред мерами. Распутин же от начала и до конца своей беспримерной карьеры оставался прямолинейным, являясь в кругу царской семьи и в домах своих почитателей и почитательниц всегда тем, чем он был, и отнюдь не скрывая даже безобразнейших качеств своего характера и нрава. И не его была вина, что одни прониклись к нему благоговением за то, что у него было, и даже приписали ему то, чего у него не было, а другие спешили поживиться за счет его авторитета в царской семье.

Равным образом было бы весьма ошибочно думать, что Распутин представлял только тип русского мужика «себе на уме». В известной степени хитрости и ловкости ему нельзя было отказать, но не на этих двух качествах выросла его слава. Не подлежит никакому сомнению, что Распутин был крупной, своеобразной и доселе вполне неразгаданной натурой, пленявшей одних и удивлявшей других. Обратимся к фактам.

Первыми очаровываются Распутиным епископы Гермоген и Феофан, ректор Санкт-Петербургской Духовной академии, а также весьма образованный, умный Петербургский священник Роман Медведь. Все они пленились высокой религиозной настроенностью Распутина, его богословствованиями от «нугра», его прозрениями, и все согласно признали в нем человека Божьего, притом весьма оригинального. Потом их, как и других духовных почитателей «старца», оттолкнули от него пьянственные и распутные его дела, которые они отказывались примирить с его святостью. Но и после разрыва, и даже доселе приходится слышать от некоторых из бывших близкими к Распутину, что они никак не могут объяснить той богословской догадливости, остроты ума и проникновенности, какие тогда проявлял Распутин.

На людей же экзальтированных или не обладающих острой наблюдательностью Распутин мог производить большое впечатление даже своей внешностью. От всей его фигуры, от его движений, слов и речей веяло какой-то особой таинственностью: острые, можно сказать, страшные, засевшие в глубоких впадинах глаза; узкий лоб, нависшие волосы, оригинальная, длинная, прямая борода; отрывистая, туманная, загадочная речь; резкие движения; постоянные упоминания о Боге. Суждения его смелы, дерзновенны, повелительны. Он их высказывал авторитетно, не считаясь ни с личностью, ни с положением своего собеседника. Распутин не просто говорил, а изрекал, вещал; не советовал, а приказывал, требовал. Все это изумляло одних, ошеломляло других, покоряло третьих; на уже поработанную волю он действовал подавляюще.

Но Распутин мог удивлять не только оригинальностью и экспансивностью своей фигуры и натуры, но и меткостью, оригинальностью, политической зрелостью и дальновидностью своих суждений, совершенно необычных для полуграмотного мужика и изумлявших самых умных людей. Граф С. Ю. Витте, которому нельзя отказать в огромном уме, пред войною говорил одному из своих знакомых о Распутине: «Вы не можете себе представить, какой ум имеет этот замечательный человек. Он

лучше всех понимает Россию, ее дух, ее чувства и ее исторические задачи»*. Менее талантливым поклонникам, а в особенности истеричным поклонницам такие суждения Распутина казались вещаниями свыше, своего рода откровениями. К ним прислушивались, внимая каждому слову; в туманном видели иносказание, в неясном искали высшего смысла. А умный и не менее хитрый мужик иногда намеренно затемнял мысль, облекая ее в туманные формы.

На окруженных угодничеством, лестью и покорностью царя и в особенности царицу Распутин сразу произвел огромное впечатление смелостью, независимостью, безапелляционной авторитетностью своих суждений. Еще пред войной царица как-то говорила своему духовнику: «Он (Распутин) совсем не то, что наши митрополиты и епископы. Спросишь их совета, а они в ответ: “Как угодно вашему величеству”. Ужель я их спрашиваю затем, чтобы узнать, что мне угодно?» Царю и царице ни один министр и ни один митрополит не говорил так смело, не держал себя пред ними так независимо, не требовал от них так повелительно, как это делал Распутин.

Окончательно же Распутин покорила сердца царя и царицы тою помощью, которую он неоднократно оказывал их неизлечимо больному сыну — наследнику престола. Он много раз предсказывал приступы болезни у цесаревича и не раз исцелял его, когда выдающиеся врачи, во главе со знаменитым лейб-хирургом, профессором С. П. Федоровым, сознавали себя бессильными облегчить страдания мальчика и даже отчаивались за исход болезни. Противники Распутина в таких предсказаниях и исцелениях подозревали обман и мошенничество, в которых будто бы помогали Распутину Вырубова, тибетский врач Бадмаев и другие соучастники. Но сам проф. С. П. Федоров**, отнюдь не бывший сторонником «старца» и по складу своей натуры совершенно не способный к мистическим увлечениям, смотрел на дело иначе. Он признавал несомненное наличие у Распутина и дара прозрения, и дара исцелений***. И не подлежит сомнению, что Распутин обладал совершенно исключительной силой, открывавшей ему возможность самого необычайного воздействия на других.

Иной вопрос: откуда была эта сила — от Бога или от чрева? Поклонники и поклонницы указывали на ее источник в нео-

* Ген. А. И. Спиридович. «Революцията дебне...» № 44. Фельетон в «Слово» за 1936 г.

** Лейб-хирург, состоявший при государе.

*** Как он решительно заявлял военному протопресвитеру 24. II.1917 г.

быкновенной вере и святости Распутина. Конечно, они ошибались, ибо у Распутина не было ни веры, ни святости подлинного проповедника. Кажется, вернее другое предположение — что эта сила развилась не на религиозной, а на физиологической почве. В 1928 г. нам пришлось услышать интересное мнение русского профессора-медика Н., изучающего личность Распутина и в особенности секрет его необыкновенного влияния на людей. Этот профессор подошел к выводу, что сила Распутина — его чрезвычайная, граничащая с прозрением чувствительность, его способность воздействовать на других — развилась на половой почве, на отличавшей его феноменальной половой энергии. Тайну распутинской силы должна раскрыть наука. Но царица твердо и окончательно уверовала в богоизбранничество своего «Друга», уверовала, что он — святой человек, сильный пред Богом своей молитвой, что молитвой он может не только ее сына исцелять и всю ее семью охранять, но и туман на фронте разгонять, и погодой управлять, и обеспечивать победы русскому оружию, как и целостность Российской державе.

Под влиянием царицы и император усвоил подобный взгляд на Распутина.

А Распутин в это самое время не стеснялся выявлять отвратительные, дикие черты своего безудержного нрава и иногда не боялся обнаруживать их даже пред царицей. Его гадостям и пакостям не было числа. Беспутство его скоро стало всем известно. Его половая распущенность была ненасытной; вакханалии и оргии были его стихией. Пьянствовал он у себя дома в кругу своих поклонников и поклонниц, в ресторанах, — на глазах у всех. Развратничал всюду, не исключая общественных бань, набрасываясь на всякую женщину, не брезгая и профессиональными проститутками. Это несомненный факт, что однажды Распутина мыли в бане двенадцать высокопоставленных дам и девиц*. Во время шальных попок Распутин любил хвастаться своей близостью к царской семье. «Хошь — сейчас Сашку** или девок*** к телефону позову», — иногда обращался он к своим собутыльникам или, указывая на свою шелковую, расшитую рубашку, говорил: «Это мне Мама сама вышила»****.

* Этот факт удостоверял нам почитатель Распутина царский духовник А. П. Васильев. Распутин не отрицал этого, объясняя, что это надо было для смирения барынь: «они княгини и графини меня — мужика мыли».

** Царицу.

*** Вел. княжен — дочерей.

**** Содержатель ресторана в Петербурге «Медведь» и в Москве «Яра» был частым свидетелем таких выходов Распутина. «Я страшно боюсь, — гово-

Рассказы о безобразнейших бесчинствах Распутина быстро распространялись по городу, становились достоянием всех кругов общества, не могли они не достигать до ушей и царской семьи. Да и сам Распутин — по крайней мере, в последнее время — не старался скрывать своих безобразий от царской семьи. Нам известен такой случай. 5 ноября 1916 г. Распутину была назначена царицей аудиенция в квартире Вырубовой в 4 ч. дня. Угостившись сверх меры на обеде, устроенном полк. Ломаном* в трапезной церковного дома при Феодоровском государевом соборе, он явился на аудиенцию с опозданием почти на час в нетрезвом виде и тотчас потребовал себе белого вина. Выпив стакан за стаканом всю бутылку, он — совершенно охмелевший — повторял царице: «Напиши Папе**, что я пьянствую и развратничаю, развратничаю и пьянствую»***. Царица после этого писала: «Только что видела нашего “Друга”... Он был очень весел после обеда в Трапезе — но не пьян»****.

Кроме того, императору приходилось не раз выслушивать официальные, документальные***** доклады министерств и шефов полиции о скандальных, роняющих авторитет царской семьи, расшатывающих трон, безобразнейших похождениях царского «Друга». Но и все более разрастающиеся и расползавшиеся слухи, и личные наблюдения, и доклады высших должностных лиц не могли поколебать в глазах царской семьи авторитета Распутина. В 1916 г. государь на новые доклады о вакханалиях и оргиях Распутина отвечал или молчанием, или коротким: «Да, я это знаю». А благоговение царицы к Распутину продолжало все более и более возрастать, и она не стеснялась уже выявлять его всенародно. «5-го ноября 1916 г., — передавал царский духовник о. А. П. Васильев, — происходила закладка строящегося А. А. Вырубовой приюта для инвалидов. Для совершения чина закладки был приглашен викарий Петроградской епархии, еп. Мелхиседек. Ему сослужили: я, настоятель Феодоровского собора прот. А. Ф. Беляев и два иеромонаха. Ждем, стоя в облаче-

рил он нам, — что когда-нибудь один из моих кельнеров не сможет снести такого издевательства над царской семьей и раздробит бутылкой голову Распутина».

* По случаю закладки церкви-приюта Вырубовой для воинов.

** Государю.

*** Передаем, как рассказывал нам царский духовник 9 или 10 янв. 1917 г.

**** Письма императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II. Берлин: Кн-во «Слово», 1922. II, 230.

***** На основании запротоколированных наблюдений за Распутиным тайной полицией, с приложением фотографических снимков.

ниях, в приготовленном шатре императрицу с детьми. Но раньше приезжает Распутин и становится на назначенном для царицы месте. В два часа дня прибыла царица с четырьмя дочерьми и Вырубовой. Подойдя к епископу, она поцеловала поднесенный последним крест, а затем обменялась с епископом принятым в таком случае приветствием, т. е. императрица поцеловала руку епископа, а епископ — руку императрицы. То же сделали и все четыре вел. княжны. От епископа императрица направилась к Распутину, который продолжал стоять, как стоял, небрежно, отставив вперед одну ногу. Распутин протянул царице руку, а та почтительно поцеловала и отошла в сторону. Вслед за царицей к Распутину подошли ее дочери и также приложились к его руке. И это произошло на глазах не только духовенства, но и собравшегося на закладку народа: офицеров, придворных, инженеров, солдат, рабочих и посторонней публики. После закладки, — рассказывал дальше о. Васильев, — ко мне подошел один офицер из присутствовавших тут. «Батюшка, что же это такое? — обратился он почти со слезами ко мне, — у меня было две святыни: Бог и царица... Последней теперь не стало... пойду пьянствовать!»» Это был знаменательный, предостерегающий голос из толпы. Но умная царица не хотела понять опасности своего поведения. Вспоминаются вечные слова: *quem perdere vult, dementat*¹.

Секрет упорного преклонения царицы и царя пред Распутиным станет, может быть, более понятным, если мы представим весьма сложный, заколдованный круг роковым образом складывавшихся влияний и явлений, создававших духовную атмосферу, от которой не могла освободиться царская семья, и мешавших царю и царице спокойно и объективно определить удельный вес их «Друга».

Начнем с того, что высшее петроградское общество в своем отношении к Распутину не было единодушным. В то время как одна его часть возмущалась близостью «старца» к царской семье и свое возмущение открыто заявляла при всяком удобном и неудобном случае, — другая, немалочисленная, часть лебезила, пресмыкалась пред «старцем» и о своем почтительном отношении к нему старалась довести до царского слуха. Среди поклонниц и поклонников, почитательниц и почитателей «старца» можно было увидеть не только экзальтированных или истеричных женщин и девиц, не только карьеристов, надеявшихся сыграть на царском «Друге», но и, как мы уже видели, целый ряд министров, обер-прокуроров Св. Синода, членов Государственного Совета, генералов, митрополитов, архиепископов, епископов, на-

конец, самого царского духовника. Приемная Распутина бывала переполнена высокопоставленными поклонниками и просителями. Распутин был желанным гостем во многих великосветских салонах. Царь и царица не чувствовали себя одинокими в почитании своего «Друга». В особенности их ободряло почтительное отношение к Распутину двух митрополитов и духовника. Близкий к царскому двору ктитор Феодоровского собора полк. Ломан однажды откровенно признался: «Пока не было м. Питирима, еще можно было бороться с Гришкой*, теперь же он непобедим». Для набожного царя и царицы митрополичья санкция праведности их «Друга» много значила.

Противники же Распутина боролись с ним не всегда благо-разумно и даже не всегда серьезно. В 1915–1916 гг. в петербургских великосветских салонах разговор о Распутине был самым модным. Рассказывались были и небылицы; критиковались не столько действия Распутина, сколько царь и царица, что могло только озлоблять последних. Салонные разговоры быстро распространялись по городу, потом по стране и, наконец, по фронту, всюду подрывая царский ореол.

Между прочим, нередко обвиняли Распутина в нечистой связи с царицей и даже в посягательстве на царских дочерей. Эта грубая и нелепая ложь могла возбудить только бурю негодования в царской чете и, как всякое очевидно ложное обвинение, послужить только в пользу обвиняемого.

Обычно же совершенно справедливо обвиняли «старца» в пьянственных дебошах и прелюбодейных похождениях. Сам «старец» цинично объяснял эти излишества: «Так Богу угодно» или: «Это необходимо для умерщвления плоти». В высшем же обществе тогда разврат и попойки были столь обычным явлением, что их считали шалостями, а не пороками. И царь с царицей в известном отношении были правы, когда обвинителям Распутина в данном случае отвечали: «Врачу, исцелися сам!» А сановно-духовные сторонники Распутина находили способы, чтобы оправдать его и в том и в другом. «Я не отрицаю ни пьянства, ни разврата Распутина, — говорил пишущему эти строки царский духовник в мае 1914 г., — но... у каждого человека бывает свой недостаток, чтобы не превозносился. У Распутина вот эти недостатки, но они не мешают проявляться в нем чрезвычайной силе Божией».

Распутинские сторонники — люди с сожженной совестью — прибегали и к более решительным мерам, чтобы оправдать «стар-

* Распутиным.

ца». В сентябре 1915 г. вдова герцога Мекленбург-Стрелицкого графиня Карлова показывала мне данную ей императрицею для прочтения книгу архим. Алексия (Кузнецова) «Юродивые святые русской Церкви»*. В этой книге самой императрицей цветным карандашом были подчеркнуты места, где говорилось, что у некоторых святых юродство проявлялось в форме половой распущенности. Тут уже мы видим попытку утвердить апологию «старца» на богословско-научном фундаменте. Митрополиты Питирим и Макарий, как и целый ряд архиепископов и епископов, своим почтительным отношением к «старцу» доказывали царице, что они не придают значения его соблазнительным прегрешениям. Немалое значение имели для царицы и бесчисленные изъявления верноподданности и любви, чем ближе к революции, тем больше поступавшие к ней от разных крайних правых организаций и союзов, сельских и церковных общин, как и отдельных лиц, а также те многочисленные торжественные встречи, которые при ее проездах умело устраивали ловкие администраторы. В том и другом она усматривала протест народных масс против интригующего, прогнившего и продажного высшего общества** и косвенно — оправдание отношений ее семьи к Распутину. В результате поход против Распутина не ослабил, а скорее усилил любовь царицы к своему «Другу» как к невинной жертве человеческой злобы и зависти. Царица отвернулась не от Распутина, а от высшего общества, решив, что опорой трона является простой народ, а не утратившая национальное чувство прогнившая аристократия, не способная оценить Божьего избранника и враждующая против него только потому, что он, выходец из простого народа, близок к царской семье.

Таким образом, не только царь с царицей, но и больное время и прогнившее общество помогали Распутину подниматься на головокружительную высоту, чтобы затем в пропасть низвергнуться и в известном отношении увлечь за собой и российский царский трон.

Царь и царица не смогли понять Распутина и поставить его на соответствующее место. Но оба они оставались чистыми,

* Кажется, я точно передаю заглавие книги. Ловкий архимандрит писал эту книгу не для науки, а чтобы угодить царице и Распутину и на этом сделать карьеру. Скоро он и получил кафедру викарного в Москве. Но, по словам проф. Н. Н. Глубоковского, он представлял эту книгу и в Петроградскую духовную академию для соискания магистерской степени. Академия провалила этот нечистоплотный труд.

** Так отзывалась об этом обществе 21 ноября 1916 г., несомненно, со слов императрицы, А. А. Вырубова в беседе с военным протопресвитером.

искренними и благонамеренными до конца. В тысячу раз виновнее их все раболепствовавшие пред Распутиным по низким и корыстным побуждениям, в видах личной выгоды старавшиеся оправдать в нем неоправдываемое и продолжить влияние на царя и царицу злого гения России.





**ВОЗВРАЩЕНЦЫ
И ИДЕОЛОГИ
«ПОРЕВОЛЮЦИОННОГО
СОЗНАНИЯ»**



ВОЗВРАЩЕНЦЫ

А. В. ПЕШЕХОНОВ

Большевики и государственность

Вскоре после моего приезда за границу в одной из здешних газет — помнится, в «Руле» — была приведена выдержка из сочинения Л. Н. Толстого о Петре Великом¹. Характеризуя последнего самыми ужасными чертами, Толстой вместе с тем издевается над историками, которые выдумали и приписали этому извергу и пьянице великие государственные заслуги и таким образом не только подыскали ему оправдание, но и возвеличили его в глазах потомков. Приведя эту выдержку, газета сопровождала ее ироническим комментарием в том смысле, что, пожалуй-де, найдутся люди, которые придумают и припишут большевикам тоже какие-нибудь государственные заслуги, чтобы оправдать все их жестокости.

Я считаю себя обязанным поднять эту перчатку и сказать несколько слов о «государственных заслугах» большевиков. Конечно, не для того это я делаю, чтобы оправдать все содеянное ими, и не потому, что нахожу удовольствие быть «адвокатом дьявола». Нет! Я должен предупредить об опасности, которая при известных условиях может угрожать России, если «государственные заслуги» большевиков не будут своевременно признаны. А что такая опасность угрожает нам, — это ясно уже из приведенного иронического комментария газеты и из многого другого, что я успел услышать за границей.

Да, большевики, по моему убеждению, сделали большое дело, и я прямо назову его: они восстановили русскую государственность... «Как так? Они именно разрушили ее!».. — несомненно, воскликнут многие читатели. Не отрицаю. Да, большевики — не одни они, но, главным образом, они — эту государственность разрушили, но они же ее и воссоздали. Припомним, как было дело...

27 февраля 1917 года старая государственная власть была низвергнута. Явившееся ей на смену Временное правительство государственною властью — в истинном смысле этих слов — не было: это был только символ власти, носитель ее идеи, в лучшем случае — ее зародыш. Воплотить в себе истинную государственную власть Временное правительство не смогло или не сумело, — считайте, как хотите. Факт тот, что при нем государственная власть не была восстановлена.

Вместе с низвержением старой государственной власти началось быстрое разрушение и того механизма, при посредстве которого она осуществляла себя и при отсутствии которого никакой государственной власти быть не может. В Петрограде это произошло одновременно с низвержением самодержавия. Аппарат государственного управления был сразу же испорчен, а в тех его частях, которые с точки зрения осуществления государственной власти являлись наиболее необходимыми, он и вовсе был разрушен. Суд, полиция и другие органы государственного принуждения были сметены без остатка. Вместе с тем исчез и другой устой государственной власти: петроградские войска в том виде, в каком они вышли из переворота, никак уже не могли служить для нее опорой, а скорее являлись угрозой. Этот разрушительный процесс быстро распространился на все местные органы, вплоть до самых низших, и на всю армию, как в тылу, так и на фронте.

До широких масс населения сознание, что государственная власть исчезла, дошло, конечно, не сразу. В деревнях оно дало себя знать только в мае, в глухих же местах и того позже, а на фронте оно обнаружилось с полною наглядностью во второй половине июня. Если хоть какой-нибудь государственный порядок и продолжал еще держаться, то, главным образом, по инерции. Сил, чтобы поддерживать его принудительно, уже не было.

Новый аппарат государственного управления складывался крайне медленно. От чего это зависело, — я сейчас говорить не буду. Факт тот, что органов самоуправления даже осенью в сельских местностях еще не было, а органы государственного принуждения так и не были приведены в систему. К созданию новой вооруженной силы, на которую могла бы опереться государственная власть, вовсе не приступали, — до конца жили надеждою, что удастся удержать от развала старую армию.

В разрушительном процессе большевики сыграли выдающуюся роль. Вместе с тем они являлись главной помехою для установления нового государственного порядка. Своим же переворотом они, можно сказать, добились русскую государственность: окончательно развалили армию и смели с лица земли и те зачатки нового

государственного аппарата, какой пыталось построить Временное правительство. Страна была ввергнута буквально в анархию.

Ни законодательной, ни судебной, ни административной власти, в сущности, не было. Законодательствовал, кто хотел, и каждый молодец — на свой образец. Литовский полк, квартировавший на Васильевском острове в Петрограде, издавал декреты для всей России, но, конечно, и на Васильевском острове, где он их расклеивал, сила их была по меньшей мере сомнительна. Законодательная власть Смольного была немного разве сильнее. Даже расклеивать свои декреты она не везде была в состоянии. В революционный трибунал — даже в Петрограде — мы первое время ходили, как в театр, где ставятся самые веселые фарсы. Да и сам трибунал, видимо, не очень верил в свою силу, и на первых порах ограничивался все больше «общественным порицанием». Бессилие административной власти в первые месяцы владычества большевиков я мог бы иллюстрировать рядом эпизодов из собственной жизни, но возьму лучше следующий. В марте или апреле 1918 г., т. е. примерно через полгода после большевицкого переворота, встречаю как-то в Москве шофера, который ездил со мной, когда я был членом Временного правительства. Поздоровались, как старые знакомые.

— Ну, что, — спрашиваю, — как поживаете? Когда-то царя возили, а теперь кого возите?

— Ничего не поделаешь, — говорит, — приходится большевикам служить... Ну, да я тоже им не очень поддаюсь. Вчера товарищ (и он назвал одного из наркомов) прислал, чтобы автомобиль ему подать, ну а я, как секретарь нашей организации, письменно ему ответил: «Есть власть наверху, но есть власть и внизу, — не дадим автомобиля!» ...

Когда власть внизу не менее сильна, чем наверху, то можно сказать, что никакой власти нет. Поэтому то в то время даже в Петрограде легко было не признавать советскую власть, — хотя, конечно, не так легко, как теперь живущим за границей.

Но добив русскую государственность, которая с точки зрения большевиков являлась не больше, как организацией классового господства буржуазии, они вынуждены были немедленно же приступить к ее воссозданию в интересах собственного господства. Они проявили при этом небывалую энергию, упорную настойчивость и дьявольскую изобретательность. Они ни перед чем не останавливались. Самая безответственная демагогия, наглый обман, бесчеловечная жестокость — были главными их орудиями. Они натворили массу нелепостей, довели народ до неслыханного голода и одичания, всю страну залили кровью...

Но русская государственность была воссоздана. В течение истекших пяти лет большевики восстановили всю полноту государственной власти и вновь распространили ее на необъятную территорию от Днестра до Великого океана и от Ледовитого до Афганистана и «Пламенной Колхиды».

Труднее всего, конечно, было воссоздать армию, являющуюся в конечном счете главной опорой государственной власти. Помню, в середине 1918 года я беседовал с генералом Болдыревым, которому Союзом Возрождения было поручено обдумать эту задачу. Он находил ее невероятно трудной. В самом деле, можно найти несколько сот и даже тысяч людей, которые ради идеи, из честолюбия, из-за материальных выгод дадут связать себя дисциплиной и согласятся рисковать далее жизнью. Но ведь нужны не сотни и не тысячи, и даже не десятки тысяч, а сотни тысяч и, быть может, даже миллионы людей, — и именно людей, готовых немедленно идти на смерть. Воссоздавать армию приходится ведь не в мирное время, а среди врагов, нападающих со всех сторон. Где же гарантия, что власти — и какой еще власти! только что зародившейся, неокрепшей и непризнанной — удастся мобилизовать десятки и сотни тысяч людей? Где гарантия, что даже собранные и наспех обученные они будут подчиняться велениям этой власти? Не предпочтут ли они просто разойтись по домам и лесам, чем идти на смерть? Можно, конечно, других собрать, но где же гарантия, что не повторится то же самое? Ведь это без конца может длиться, как сказка про белого бычка. Но может и сразу оборваться. Прежде чем разбежаться по домам, войска могут ведь низвергнуть самую власть. Если старая армия, находившаяся под давлением многовекового внушения, что от государственной власти никуда не скроешься и никогда от нее не избавишься, в конце концов перед лицом врага взбунтовалась и разбежалась, то чем можно сдержать новую? — новую, которая знает, что государственную власть можно низвергнуть и среди которой многие, быть может, сами в таком низвержении участвовали?

Большевики преодолели эти невероятные трудности. Не сразу им удалось создать армию, достойную этого имени, — немало и у них было неудач. Смеху было подобно, но только не до смеха было тогда, когда они свою «красную гвардию» отправили на фронт сражаться с немцами. При помощи этой вооруженной силы можно было «национализировать» банки и даже разогнать Учредительное собрание, но, конечно, она не могла противостоять немецкой армии ни по численности, ни по организованности, ни по дисциплинированности. Целые отряды красноармейцев разбегались при виде одного немца. И немцы триумфальным маршем

продолжали двигаться к Петрограду. Большевики не смутились. Они заключили «похабный мир» и получили «передышку». А тем временем изобрели латышей, венгерцев, китайцев и при их помощи начали управлять Россией и воссоздавать русскую армию. Этой силы было достаточно, чтобы распространить кровавую деятельность чеки на всю советскую территорию и даже для того, чтобы изловить достаточное количество дезертиров и превратить их в красноармейцев, но и она не могла сковать созданную таким путем армию. Не сразу удалось ее скрепить и внутренним цементом — мобилизованными коммунистами. Армия продолжала рассыпаться, — и не раз казалось, что вот-вот она совсем рассыплется. Будущий историк, вероятно, с недоумением остановится на перипетиях нашей гражданской войны. Как это объяснить: то белые гнали красных, то красные — белых, и не раз это было, а много раз и на всех фронтах. А секрет был прост: то у красных армия разваливалась, то — у белых, ну и бежали чуть не врасыпную. А затем вновь собирали и подтягивали армию и вновь шли в наступление. Нервы у большевиков оказались крепче, они проявили больше настойчивости, да и в верхах у них было больше единодушия. И в конце концов они победили на всех фронтах. При этом советская власть вышла из борьбы с неразвалившейся, а в некоторых своих частях и закаленной армией. В условиях мирного времени ее было несравненно уже легче обеспечить надлежащим командным составом, снабдить всем необходимым и дисциплинировать.

И это в значительной мере, несомненно, уже сделано... Трудно судить со стороны. Но я должен сказать, что советские войска своей выправкой, дисциплинированностью и вообще своим внешним видом производят в последнее время очень не дурное впечатление. Конечно, и эту армию нельзя считать застрахованной от развала, — да и какую армию в наше время можно считать от этого застрахованной? Но мне кажется, что государственная власть уже может без особого риска опереться на нее во внутреннем управлении, а при известных условиях — и во внешней борьбе.

Над восстановлением аппарата государственного управления большевикам пришлось еще больше повозиться, чем над воссозданием армии, — и не потому, что это дело само по себе было чересчур уж трудно, а потому что они совершенно не умели за него взяться. И то мешало, что государственному аппарату они долго старались придать классовый характер. Бесчисленное количество раз и во всех почти частях они строили его, ломали, опять строили и опять ломали. Глядя со стороны, только и можно было сказать: «Как вы ни садитесь, а в музыканты не годитесь». И дей-

ствительно, сколько-нибудь опытных «музыкантов» в их среде совсем не было. Но понемногу научились, а у некоторых и талант оказался. Главное же, они сообразили, что без «спецов» и в этом деле не обойтись. Не всегда коммунисты могли их оценить и в них разобраться, но за спецами дело во всяком случае не стало, — они были привлечены даже в избыточном количестве. Да и вообще весь аппарат был доведен до необычайно громадных и совершенно непосильных для страны размеров. Тогда — под давлением, главным образом, материальных затруднений — советская власть начала сжимать и упрощать его. Эта операция еще не закончена. Да и в других отношениях государственный аппарат нельзя считать совершенным: в нем много неуклюжего, ненужного, нецелесообразного и даже нелепого.

Но он отнюдь не представляется таким смехотворным, каким был в начале, и уже в теперешнем своем виде достаточно удовлетворительно служит своему назначению. Он является надлежаще дифференцированным и специализированным в отдельных своих частях, а с другой стороны, достаточно разветвленным, охватывает все сферы жизни и всю территорию, доходит до самого низа. Отдельные части его более или менее притерты друг к другу и согласованы, и теперь уже нет почти разнобоя между ними, нет, в частности, и того разнобоя между центральными учреждениями и местными органами, который долгое время являлся характерным для советского аппарата. Государственная власть может быть уверена, что ее веления без особых искажений дойдут до любого пункта территории и почти везде найдутся органы, которые наблюдают за их выполнением.

Деятельность этих органов уже введена в известные рамки и регулируется целым рядом декретов, положений, инструкций. Когда-то г. Стучка² в руководство судьям только и мог предложить, что собственное их революционное сознание да программы-минимум партий с.-д. и с.-р. Теперь, как вы знаете, имеются уже уголовный и гражданский кодексы, установлены формы судопроизводства и т. д. То же — и в других областях. Взять хотя бы законодательную деятельность. Конечно, если понадобится Ц. К. коммунистической партии проведет нужный ему декрет в несколько часов. Но по общему правилу теперь всякий законопроект проходит уже ряд инстанций, передается на заключение ведомств и т. д. Это уже гарантирует, по крайней мере, от тех неожиданностей, которые нередко оказывались в опубликованных декретах для самой советской власти. Конечно, в нормах, какими руководятся советские учреждения, остается немало пробелов, имеется, быть может, еще больше излишней регламентации, самые

эти нормы плохо еще согласованы между собою и в них немало найдется нелепого, даже безграмотного, но и за всем тем нельзя не признать, что выполнена уже громадная работа по урегулированию деятельности государственных органов.

Выполнена и еще одна, быть может, самая важная и трудная задача в деле воссоздания государственности: в сознании населения восстановлена принудительная сила государственной власти. Признаюсь, будучи членом Временного правительства, я со страхом думал об этой задаче, которая была, конечно, одной из самых неотложных. Кто и как заставит население выполнять веления власти? Кто и как, в частности, принудит его вносить подати и выполнять повинности? Одними увещаниями этого не сделаешь. Нужна систематическая, не останавливающаяся перед репрессиями, настойчивость. Найдется ли у новой власти суровая решимость за это «грязное дело» взяться? Или, вот, она так и будет со дня на день его откладывать? Ну, а в таком случае ясно ведь, никогда она настоящей властью и не будет... Конечно, у нее были мотивы, чтобы медлить: нужно подождать, пока революционный пыл остынет; необходимо сначала аппарат построить; лучше всего подождать, пока придет подлинный хозяин земли русской, когда соберется Учредительное собрание... Словом, необходимой решимости все не хватало.

Большевики эту суровую решимость в себе нашли. Больше того: они проявили невиданную и для существа дела совершенно ненужную жестокость. И своего они добились... Выше я упомянул, что большевистские декреты выполнялись на первых порах далеко не в полной мере, а иногда и в ничтожной доле, потому что, с одной стороны, они были дики, нелепы, невыполнимы, а с другой — и советский аппарат не в состоянии был настигнуть всех уклоняющихся. Но кого он настигал, тому пощады уже не было. По мере совершенствования этого аппарата возможность, а стало быть, и склонность уклоняться становились все меньше и меньше. И теперь, можно сказать, большевистские декреты не всуе пишутся: они исполняются почти так, как и надлежит исполняться законам. В частности, и налоги вносятся достаточно исправно.

Русская государственность восстановлена... О, я отнюдь не являюсь сторонником тех методов, которыми большевики это выполнили. Да и большевистскую государственность я не только не считаю совершенною, но и нахожу ее гораздо хуже той, которую они разрушили. Я продолжаю думать, что при помощи несравненно более мягких приемов можно было достигнуть несравненно лучших результатов. Но и за всем тем «государственной заслуги» большевиков я отрицать не стану.

Больше того. Я готов обратиться к любому из претендентов, рассчитывающих воссесть на место Ленина, и сказать: не разрушайте того, что большевиками уже сделано! Не разваливайте советской армии, а уж лучше попытайтесь овладеть ею, если сможете. Не ломайте советского аппарата и лучше уже потом по своему вкусу его переделайте. И не подрывайте еще раз авторитета государственной власти, потому что вновь его, пожалуй, не восстановите.





Е. Д. КУСКОВА

Мысли вслух

I

Душа русской интеллигенции сшита из добротного материала: что в ней засело, зарисовалось, изнашивается не скоро. Даже под ударами судьбы... Основной рисунок этой материи — кланы, клетки. Широкого фона нет. Раз образовавшись, клан упорно борется за свое первородство, за свое лицо. И чужак — не моги...

А когда спрашивали: откуда большевики? С их нетерпимостью дикаря?

Да вот отсюда, из клана...

II

Клан трогать нельзя — идеей. Будешь врагом. Помню в 900-х годах редакция близкой мне газеты поставила на открытое обсуждение жгучий вопрос о терроре. И стала почти ненавистной всему клану революции. «Преступники» стали доискиваться причины — в чем их вина? В идейной или моральной области? В нарушении — каких правил? Оно заключалось — в моральной: *лежачего не бьют.*

— Но послушайте, господа, кто же «лежащий»? Тот, кто с браунингом и бомбой? — Ответа не последовало. Ненависть к нарушителям горела... Она жгла смельчака...

Так же было с белым движением. Коснуться идеей — не смей...

III

Самый жгучий вопрос для эмиграции — возврат на родину. И хотя в эмиграции — не кланы, и все-таки это — клан, что-то единое — эмиграция... Все, оказывается, связаны одной цепью, одной поручкой. И вот нашелся смельчак, старый, уважаемый, — кажет-

ся всеми кланами, — публицист, А. В. Пешехонов. Он поставил на обсуждение жгучий вопрос — о родине и эмиграции. И сразу же стал — чужаком... На днях передаю ему кучу газет с острейшими шипами по его адресу. И слышу грустное резюме:

— Ругаются превосходно, жестоко... А идей-то и не заметили!

IV

Идей-то и не заметили... Нет, некоторые заметили. Но односторонне: подхватили и талантливо развили лишь те идеи, которые бьют и разоблачают — чужака... Пешехонов — чужак... Остальное — неинтересно.

V

Быть может, кланы растревожились из-за ошибки самого А. В. Пешехонова. Он поставил вопрос лично за себя. На это он не имел права не только с точки зрения нравов клана. Это право, — ставить вопрос лично, — он потерял давно: с тех пор как выбрал свою судьбу, судьбу общественника. Эту грубейшую ошибку, ставить вопрос лично, подхватили и разнесли его за нее — жестоко. В этом правы. От Пешехоновых ждут (те, кто ждет) не личных излияний, а указания достойного пути. Ну, что же? Клань поступили правильно: за ошибку — высекли, невзирая на стаж.

VI

Но идей, основных идей — не заметили. И своих — не прибавили. Эти идеи заметили... иностранцы. Не свои, русские. А иностранцы. В одном из последних номеров «Прагер Прессе» статьи Пешехонова, Осоргина и даже Дионео отмечены как *новое течение в эмиграции*. А затем глубокое и верное замечание... иностранцев. «Это течение, ставящее вопрос о возврате на родину эмиграции, не имеет решительно (*gar nichts*) ничего общего с так называемыми *сменовеховством*».

Иностранцы заметили *идею*.

И никто из русских не поставил основного вопроса: течение это или личное?

Да, это — *уже течение*.

VII

Еще более растревожатся кланы. Если течение — его надо искоренить и кланы «очистить». Очищайтесь, господа, от... жизни. Искореняйте то, что стучится — во все двери.

VIII

Во все двери? Но как можно стучаться в наглухо заколоченные двери? Как можно просить сторожей, «бандитов и мошенников», эти двери отворить?

Как можно просить? Просить, может быть, и не надо, и нельзя. Но проходит время, когда могуче вырастает новая задача: *засыпать ров гражданской войны*. Первые люди с заступами, приступающие к этой задаче, будут, быть может, засыпаны на смерть осыпающейся землей... За ними последуют другие. И самый вопрос — о родине и эмиграции, не будет снят с очереди до тех пор, пока ров не будет засыпан...

Но... Торговать с советами потихоньку легче, чем ставить вопрос в открытую.

IX

Сосредоточено все внимание на острой шпаге — в грудь Пешехонова. Пляшите здесь камаринские мужики, пишут одни — это выгодно советам! Вас не пустят! пишут другие: советам выгодно, чтобы вы ругали эмиграцию и просились туда — безнадежно.

Но никто не отметил самого важного. Девять десятых советской политики направлено на очарование иностранцев. Какая поучительная картина для наблюдателей — иностранцев: человек признает советскую власть, человек обещает лояльность, человек рвется на служение родине при ее *данном строе*, человек...

И его-то именно и не пускают... Картина ясная для лицемерия чего? Лица Пешехонова? Нет, картина ясная для страшного лица — режима.

Помню, как был поражен сенатор Лафолетт. Ему сказал в беседе профессор Франк: я выслан не за противодействие советам, а за несоветское мирозерцание. Всего только одна капля дегтю в сладкий мед Лафолетта, — его агитацию за признание... А «кушать» отравленное правдой кушанье покойный сенатор уже не мог: оно пахло дегтем...

Закрытие дверей перед лояльными людьми или учеными с «несоветским мирозерцанием» бьет советскую власть много

больнее, чем нападение противника. В последнем случае — борьба; в первом — сущность режима, лик власти...

И этого следствия «пешехоновских настроений» не заметили свои; они заняты: точат шпаги и рапиры — на своих. Иностранцы много наблюдательнее...





СМЕНОВЕХОВСТВО

С. С. ЛУКЬЯНОВ

Революционное творчество культуры

Борьба с большевизмом ведется под знаменем борьбы за культуру. Большевики разрушают русскую культуру — утверждают противники революции. И действительно в огне революции сгорели многие духовные ценности, погибли многочисленные прекрасные воплощения прошлого, истлело прежнее право, сжалась свобода, исковеркан и обезображен быт. Тяжелые опустошения потрясли экономическую жизнь страны.

Так что же? Великая Русская Революция — лишь распад, гибель, разрушение культуры?

Говоря о культуре, необходимо различать ее носителя и самое содержание определенной культурной стадии. Далее, в содержании того или иного культурного мира можно легко выделить элементы безусловной культурной ценности, неотменяемые временем, воспринятые в сокровищницу общечеловеческих вечных ценностей. Наряду с ними выступают относительные культурные ценности, по преимуществу характеризующие *данную* культурную эпоху.

Смены культурных миров, внутренние изменения их содержания, появления нового носителя культуры — будь то народ, племя, общественный класс — вызываются нередко насильственно, в порядке революционного процесса. Неизбежные в этом случае разрушения иногда надолго отбрасывают назад соответствующую часть человечества, создавая иллюзию регресса. В трудном прошлом человечества нам видится, таким образом, не непрерывный факельный бег, не легкое восхождение привычного путника на горные высоты, а утомительное блуждание каравана, то гордо с высот оглядывающегося на пройденный путь, то смутно ищущего в темных ущельях тропинок на снежные вершины.

Революционные перевороты различно отражаются на безусловном и относительном содержании культуры и на ее носителе в зависимости от тех задач, которые им суждено бывает разрешить.

Бывали революции, которые сравнительно мало меняли культурное содержание эпохи и приводили к тому, что на место старого руководящего в культурном отношении общественного слоя приходил новый носитель культуры, в основном усваивавший и продолжавший культурные традиции своего предшественника. Так, Великая французская революция или Смутное время в России, выдвинув новый общественный класс, не нарушили коренным образом естественного роста старого культурного мира, его органической целостности.

Иное значение имели революции, не только устранявшие прежнего носителя культуры путем подмены его новым, но и *разрывавшие народное тело на части*, в силу чего единая до того национальная культура утрачивала это свое единство и распадалась на культуры высших и низших общественных слоев. Таков был, например, результат для Афин революции, именуемой Пелопонесскою войною: к концу V века до Р. Х. то, что принято называть греческой культурой, перешло в обладание афинской интеллигенции, все более утрачивавшей национальный характер, в то время как в народных массах, удалявшихся экономически и культурно от высших классов, складывались условия обособленного духовного и материального быта.

Неоднократно благодаря революционным переворотам в истории осуществлялось *восстановление культурного единства*, нарушенного либо в результате длительного эволюционного процесса, либо в силу резкого революционного удара. Так, выросшая на новой социальной базе в результате гражданских войн I века до Р. Х. Римская империя сумела создать и охранить на протяжении нескольких веков амальгаму мировой эллинистической культуры с провинциальными культурными особенностями.

* * *

Революция 1917 года застала Россию в состоянии глубокой культурной разобщенности. Пропасть между носителем того, что принято было называть русской культурой, и народными массами с их своеобразным духовным и материальным бытом залегла издавна и поддерживалась до наших дней в силу исторических, социальных и экономических условий жизни России. В результате этих условий в России на протяжении долгих веков существовало, по крайней мере, два обособленных друг от друга культурных мира. Получалось своеобразное и весьма противоестественное «разделение культурного труда»: интеллигенция творила культурные ценности, не проникавшие в народ и не руководившие властью; носители власти управляли страной вопреки идеалам

интеллигенции и в нарушение хозяйственных интересов народных масс; народные массы строили свое хозяйство вне понимания интеллигентской культуры и в глухой ненависти к представителям власти и их политическим и правовым принципам.

Русская интеллигенция, чувствовавшая свою культурную и социальную изолированность от народа, искала средств для построения моста между собою и народом. Долгое время для этой цели служила идеализация народных масс, по преимуществу крестьянства. Но был и другой путь сближения с народом — «научное» изучение его психики и быта. В русскую деревню, как в области центральной Африки и Австралии, — снаряжались научные экспедиции для этнологического исследования культуры русского мужика. Наконец, художники слова и кисти, интуитивно проникая в этот «иной мир», давали картины его духовного и материального быта, далеко не всегда точные.

Основной культурно-исторической задачей революции 1917 года было создание условий для восстановления русского культурного единства. И эту задачу революция, по-видимому, осуществила полностью. В области социальных отношений она сумела превратить народные массы в сознательных строителей своей и государственной жизни. В области экономической — она поставила труд на подобающее ему место, устранив коренное противоречие между имущими и неимущими, расположив всех в незнающий резких перерывов ряд. Наконец, в области политической — революция нашла такие формы построения власти, которые, будучи непосредственно понятны народным массам, связали носителей власти теснейшим образом с народом во всех его частях.

Тем самым она уже сейчас делает возможным решение основной культурно-исторической проблемы русской жизни: примирение и слияние «русской культуры» в старом смысле этого термина с миром бытовых и духовных особенностей народных масс, русских и инородческих.

Уже и сейчас вполне ясно намечается строительство единой, синтетической русской культуры в обоих главных направлениях: в направлении сохранения и усвоения безусловных ценностей старой русской культуры (в узком смысле слова) и в направлении отыскания и оформления ценностей относительных, построенных из элементов массовой народной психики.

В отношении безусловных ценностей Россия стремится осуществить и действительно осуществляет одну основную задачу — пронести безусловные ценности прошлого через разрушительный хаос революции с тем, чтобы ими постепенно сверху донизу пропитался весь народ, чтобы они стали его неотъемлемым достоянием.

В этой цели: —

Во-первых, прилагаются огромные усилия к поднятию интеллектуального уровня народных масс, т. е. к созданию основного условия усвоения новых для народа культурных ценностей. Конкретно это выражается в борьбе советской власти с неграмотностью путем проведения всеобщего обучения и широкой постановки внешкольного образования.

Во-вторых, прилагаются не меньшие усилия к тому, чтобы абсолютные ценности старого культурного мира могли оправдать свою значимость на непосредственном, а потому для широких масс *убедительном* опыте. Что делать, во имя спасения достижений науки и художественного творчества в периоды тяжелых революционных кризисов необходимо бывает низвести на землю то, чья родина — небо. Только применимость науки общественного характера в государственной работе, только абсолютная необходимость точных наук для промышленной техники и сельского хозяйства, только неустранимость искусства из жизни, обнаруженные на непосредственном опыте, способны оправдать в глазах нового строителя русской культуры науку и искусство. Эта жестокая правда, несомненно, определяет политику советской власти в отношении научных установлений России, ее художественных сокровищ, служителей ее науки и искусства.

В-третьих, прилагаются усилия к охране тех сокровищ знания и искусства, которые по самому своему существу не могут быть сведены с неба на землю, связь которых с землею наглядно недоказуема. Посильное сохранение и поддержание почти в полной неприкосновенности и в меру общих экономических ресурсов страны академий, музеев и отдельных памятников искусства показывает, что и эта задача понята революцией.

В-четвертых, прилагаются усилия к тому, чтобы не прекратился дальнейший рост безусловных ценностей, чтобы не умирала живая творческая традиция. Можно лишь пожалеть, что исключительно трудные условия русской жизни не позволяют в этом отношении сделать всего, что необходимо.

Неизмеримо труднее задача революции в области относительных культурных ценностей: в области права и хозяйства. Правильно разгадать их основу — народную психику, найти адекватное ей выражение в жизни, установить равнодействующую между глубочайшими народными идеалами и требованиями реальной жизни — бесконечно трудно, а подчас просто невозможно без того, чтобы или не поступиться идеалами, или не пойти наперекор жизни.

В большевистско-коммунистической идеологии огромное большинство русского народа, по крайней мере в первый период

революции, узнало свои сокровенные чаяния и мечты о социальной правде, экономической и правовой справедливости. Однако дальнейший ход революции вскрыл противоречие между коммунизмом и крестьянскими идеалами, между коммунистическим идеализмом и житейской практикой. Готовая формула коммунизма оказалась недостаточной, обнаружилась необходимость дальнейших исканий, длительной эволюции. Новая экономическая политика советской власти, ищущая примирения между самостоятельной хозяйствующей личностью и государственным коллективом, новое правительство, ставящее себе целью найти государственные формы, наиболее соответствующие народному представлению об его участии в государственном строительстве, — все это показывает, что вехи дальнейшего культурного строительства революцией поставлены также и в области относительных ценностей.

Так что же? Великая Русская Революция — лишь распад, гибель, разрушение культуры?

Нет. Революция 1917 года творит новую Россию. Выдвинув нового носителя культуры, власти и национального хозяйства, она в высшем синтезе сливает два русских культурных мира: тот, который уже давно признавался «культурным», и тот другой, — таинственный и многоликий, — который в прошлом охотно идеализировался, а ныне, ввиду неожиданности обнаруженных им ликов, стал внезапно, в глазах своих недавних поклонников, «варварским», хамским и зверским. И не вина русской революции, если ее отрицатели в более чем относительном видят что-то вечное (и потому отворачиваются от революции), а подлинно вечного открываемого ею не замечают, не чувствуют.





Н. В. УСТРЯЛОВ

Духовные предпосылки революции

1

Мало-помалу приближается время духовного осознания русской мыслью великого кризиса нашей истории. Все чаще и чаще русская революция становится предметом серьезного исследования, углубленных дум. Разбитая и разгромленная в ней русская интеллигенция стремится постичь ее природу, уяснить корни своего поражения. Как это всегда бывает, мысль, отброшенная с пути непосредственного действия и активной работы, уходит в сферу общих основ, размышлений и принципов, проясняющих сознание и обогащающих национальную культуру. Может показаться, что русская интеллигенция как бы вновь возвращается к своей традиционной роли. К мысли она привычней, чем к действию. Но в то же время великое революционное действие, живой, хотя и страшный, опыт пережитых лет, оплодотворяя мысль, сулит ей действенность, способствует творческому перерождению самого организма русской интеллигенции, тесно приобщившейся к государству российскому, в эти четыре бурных года привившей себе терпкие соки государственности. Ее думы уже становятся существенно иными и по характеру, и по содержанию.

Мы говорим об интеллигенции, разумея под нею то ее большинство, которое ныне идеологически противопоставляет себя официальной доктрине русской революции на современной ступени ее развития. Но было бы правильнее сказать, что *сама русская революция есть прежде всего борьба русской интеллигенции с самою собой*. И большевизм, и его политические противники — одинаково порождены историей нашей общественной мысли. И тот, и другие черпают свои кадры из рядов русской интеллигенции, являясь как бы ее Белым и Голубым Нилом. По двум большим руслам протекает процесс духовного самоопределения русского

«культурного слоя», и оба эти русла, каждое по своему, глубоко извилисты, многомотивны, неровны. Оттого и потоки, по ним бегущие, так напоминают собой водопады.

2

В большевизме исконный радикализм русской интеллигенции причудливо сплетается сначала с характерным бунтарством, а потом — с исконной «пассивностью» русского народа. Пусть первые дни «свободы», казалось, хотели засвидетельствовать собою, что интеллигенция преодолела свой радикализм, а народ — как бессмысленное бунтарство свое, так и свою вековую пассивность: министры переворота твердили о патриотизме и государственности, а облеченный в солдатские шинели и рабочие куртки «народ» отказался от «родного долготерпенья», проявив волю к какому-то сознательному, организованному «действию». Но это была только мгновенная видимость. На самом деле крушение русского «государства» могло лишь с наглядною очевидностью обнаружить основные качества обоих элементов русской «земли» — «народа» и «общественности». Предоставленные сами себе, лишённые опеки, уже в процессе «свободного кипения» должны были эти элементы изжить свои «опасные для жизни» свойства, и вновь создать — изнутри, из себя — великую броню государственности, взамен обветшавшей и распавшейся в прах. Такая задача естественно не могла быть осуществлена легко и безболезненно. Она решается в муках. Не решена она еще и доселе, поскольку длится еще состояние революции.

Петербургский абсолютизм, убитый мировой войной, оставил после себя не взрослого наследника, а лишь беременную вдову в лице Государственной Думы. Под шум крушения вековых связей она родила недоношенное дитя — Временное правительство, — облик которого как две капли воды напоминал собою думское большинство (оппозиционный «блок»), а колыбелью которого стала русская вольница, лишённая узды и получившая возможность до конца проявить свою природу. Оно зажило — это неудачное дитя — жизнью взбудораженной страны, с каждым месяцем все беспомощней отдаваясь стихии, пока стихия его не поглотила без остатка...

В этом сказалась историческая закономерность. Чуждая непосредственным стремлениям народных масс и бессильная ими руководить, безвластная мартовская власть во всех своих вариациях оказалась вместе с тем чужда и подлинной логике революционной идеи, выношенной поколениями русской интеллигенции. Боль-

шевизм не только сумел вовремя учесть стремления масс, — он пришел безоговорочно исполнить и заветы истории русской интеллигенции.

Ростки своеобразного «большевизма» проявлялись на протяжении всей этой истории — от Радищева и особенно от Белинского до наших дней. Фанатическое, *религиозное* преклонение перед материальной культурой и материальным прогрессом подготовило активно материалистический культ октябрьской революции, а систематически воспитываемое недружелюбие к началам нации и государственности («враждебный государству дух») привело к безгосударственному космополитизму идеологии интернационала. История русской интеллигенции, развивавшаяся, как известно, в условиях исключительно неблагоприятных, представлявшая собою, по выражению Герцена, «или мартиролог, или регистратор», — не способствовала воспитанию уравновешенных и трезвых характеров. Вместе с тем длительная невозможность практической деятельности в сфере государственно-политической воспитала в широких интеллигентских кругах одностороннюю «теоретичность», безграничную влюбленность в крайние утопии, в отвлеченные «идеалы». Ведь известно, что прекраснодушие и максимализм — верные спутники бездействия и конспирации.

Если к правде святой
Мир дороги найти не сумеет, —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!..¹

Жили, как в сне золотом... Жили миражами, тем более прекрасными, чем безотраднее представлялась окружающая действительность. И не хотели в этой действительности видеть и крупиц добра. И не хотели ее совершенствовать, — мечтали ее сокрушить. И тогда... «жизнь станет такой прекрасной»... Все новое, радикально новое, — «новый мир». На меньшем не мирились.

Пусть велики, гениальны, «всечеловечны» были многие представители нашей интеллигенции, — в общем, в массе своей она была изуродована, искалечена до мозга костей. Да и гении ее отражали нередко своеобразный склад ее духовных устремлений, по-своему интересный и привлекательный, но мало обещавший русской государственности, русской державе *как таковой*. И это очень знаменательно, что та часть нашего культурного слоя, которая приобщалась вплотную русскому *государству* (линия Сперанский–Столыпин) даже и не считается у нас, как известно, принадлежащей к «интеллигенции». И немало труда потратили

всевозможные Ивановы-Разумники, чтобы этот взгляд превратить в «научную истину»...

Первая революция конкретно обнаружила опасность. Под покровом дряхлеющей власти шевельнулся хаос, мелькнул смутный облик бездны. И уже тогда, после первых революционных опытов, наиболее чуткие из тех, кто были властителями дум своего поколения русской интеллигенции, стали осознавать тупик, к которому она пришла. Уже тогда ее авангард суровой критике подверг ее прошлое, решительно осудил ее традиционный путь, ее «большую дорогу», сжег многое, чему поклонялся, поклонился многому, что сжигал. Конечно, тут прежде всего надлежит сослаться на знаменитые и пророческие «Вежи», появившиеся в 1907-м году².

Но то был лишь авангард. Его осмеяли, его, разумеется, заподозрили в «реакционности», его немедленно отлучили от интеллигентской церкви, а вся армия, вся масса интеллигентская осталась при прежних своих верованиях, столь красочно разоблаченных одиозным сборником.

Поверхностный, банальный и устаревший позитивизм в качестве основы «общего мирозерцания», наивная религия прогресса в духе Конта и Фейербаха, кичащаяся маркой квалифицированной «научности», некритический утилитаризм в этике («человек произошел от обезьяны, а потому люби ближнего своего») и, как социально-политическое завершение, непременно — социализм, коммунизм в роли рая на земле... И в этот комплекс ограниченных, сумбурных идей вкладывали великий идеализм упований, жертвенные порывы веры и любви.

Поколениями воспитанные в ненависти к власти, мы приучились отождествлять правительство с государством и родиной. Все духовные ценности — религию, мораль, искусство — мы привыкли расценивать по их внешним «проекциям», по их «общественно-политическим» выводам. Нет ничего удивительного, что от такой расценки мы перестали воспринимать и ценить все действительно ценное, все, что не поддается плоскостному измерению. Само собою разумеется, что понятие «национального лица», как ускользавшее от такого измерения, было объявлено «мистической выдумкой», а принцип национальной культуры провозглашен «реакционным» и «шовинистическим». Самый термин «национализм» стал у нас бранным словом. За роскошью факта великодержавия притуплялся в стране великодержавный инстинкт. «Мы жили так долго под щитом крепчайшей государственности, что мы перестали чувствовать и эту государственность, и нашу ответственность за нее» (П. Струве, «Размышления о русской революции»³). В конце концов мы превращались в каких-то Иванов-непомнящих, людей

без отечества, оторвавшихся от родной почвы. «Высокие идеалы», нас питавшие, придавали лишь отвлеченную моральную высоту нашим настроениям и поступкам, но не способствовали их действительной плодотворности и не животворили их творческим духом. Государственность при таких условиях постепенно превращалась в оболочку, лишенную жизненных корней и связей. Государственность вырождалась, превращаясь в омертвевшую шелуху.

Лишь подлинно великое потрясение могло бы излечить русскую интеллигенцию от ее тяжелой болезни. И вот пробил час этого великого потрясения.

3

Империя, когда-то вздернувшая Россию на дыбы, а затем пропустившая время умело «ослабить поводья», — рухнула. Начальство ушло, и у государственного руля в трагичнейшую минуту нашей национальной истории внезапно очутилась сама русская интеллигенция — со всеми ее навыками, со всеми ее идеями, со всем ее прошлым.

Я никогда не забуду одного московского впечатления тех весенних, мартовских дней, первых дней свободы. — Оживленная, радостно гудящая улица. Среди бесконечных грузовиков с солдатами, весело приветствовавшихся толпой, вдруг появились два или три силуэта, вызвавшие повсюду особенный восторг, усиленные приветствия, исключительно бурный энтузиазм. Умиленный, прерывающийся шепот слышался повсюду по мере их приближения: «Это из тюрьмы, освобожденные узники, еще 905 года, и раньше...» И пели марсельезу — тогда еще «Интернационал» не приехал — и самозабвенно кричали «ура»...

Автомобили поравнялись со мною, и я увидел этих людей. Каким-то странным и в то же время уместным, волнующим контрастом выделялись они на фоне всеобщего торжества и весеннего опьянения. Бледные, исхудавшие, «прозрачные» лица, большинство еще в арестантских халатах, глаза блестящие, словно ослепленные неожиданным светом, устремленные поверх толпы, поверх действительности, куда-то вдаль, в пространство, и даже за грани пространства —

За пределы предельного,
В область светлой Безбрежности⁴!

«Исступленные», — как их гениально определил в свое время Достоевский...

Из тюрьмы, из мрака многолетнего заключения, они сразу устремлялись на вершины политической власти. Из Бутырок при радостных криках толпы они проехали прямо в Кремль.

4

История вручила им судьбу России. С каторги, из недр сибирских захолустий, из душных эмигрантских кофеен Парижа и Женевы, с восточных кварталов Нью-Йорка — отовсюду потянулись к русским столицам любимые сыны русской интеллигенции, ее герои и мученики, в борьбе обретшие наконец право свое. И лозунги подполья превратились в программу власти.

Правда, в течение первых недель февральско-мартовского переворота эти лозунги подпольных людей еще выдержали краткую борьбу с теми группами русской общественности, которых опыт первой революции и Великой войны уже успел несколько отклонить от ортодоксального символа интеллигентской веры. Но и здесь, как в эпизоде с «Вехами», победила традиция, — да и сами новаторы, впрочем, оказались весьма сговорчивыми, нетвердыми в своем «ревизионизме»: недаром же непротивленческое правительство князя Львова выслало почетный караул навстречу Ленину после его эффектного переезда Женева — Берлин — Петроград...

Крушение Временного правительства обозначило собою кризис не только исторический и политический, но и внутренний, идеологический. Соприкоснувшись с государством и остро почувствовав свою ответственность за него, широкие круги интеллигенции принялись за пересмотр своего поколением накопленного политического багажа. Но было уже поздно, и логика жизни, отбросив колеблющихся, вызвала «последовательных до конца». В этом сказалась не только естественная закономерность событий и процесса идей, — тут проявился глубокий и разумный смысл совершающегося. Кризис интеллигентского мирозерцания должен был быть углублен, «пересмотра» одной только *политической* идеологии было недостаточно. Началось с политики, — перебралось во «внутрь», в царство духа. Сама политика от «мелких дел» перешла к широким масштабам, дерзновенным претензиям, подлинно «новым словам». Разверзлись духовные глубины, обнажились «последние» вопросы, полные всемирно-исторического значения и смысла. Грянула *великая революция*.

«Великой» она стала лишь к ноябрю 17 года. «В марте мы слышали только революционный лепет медового месяца и видели только робкие шаги родившегося общественно-политического

обновления; — буря пришла потом, и только на мрачном и зловещем большевистском небе засверкали ослепительные зарницы» (Б. В. Яковенко, «Философия большевизма»)⁵.

Углубление революции совершалось с чрезвычайной быстротою. Мы видели, как облекались плотью и кровью давние фантазии русской интеллигенции, как жизнь от рылеевской «Полярной Звезды» и герценовского «Колокола» перебрасывалась к добролюбовскому «Свистку», а от него — к ткачевскому «Набату»⁶. Мы пережили на пространстве нескольких месяцев какое-то магическое «оживотворение» истории русской политической мысли — от идей декабристов, от либерализма западников и славянофильского романтизма до нигилистических отрицаний шестидесятников, до утопий Чернышевского, до французских и немецких формул Бакунина, слушали Рудиных, созерцали Волоховых, — болтали Степаны Трофимовичи, а вот пришло и младшее поколение, тут и Шигалевы, и Верховенские: «мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ...» А рядом тут же, — андреевские «Семь повешенных» с исповедью человеколюбцев-убийц⁷: —

Мою любовь, широкою, как море,
Вместить не могут жизни берега...⁸

Все это странно воскресло в подновленном, модернизованном наряде. И разразилось великим дерзновением неслыханным, вдохновенным размахом... Страшный суд пришел — суд над духом и плотью русской интеллигенции.

И вот она увидела воплощенными мечты свои в их крайних выводах, в их предельно последовательном и четком выражении. Она реально ощутила неизбежный конец своего пути в изображении ярком и красочном, как был сам этот путь. Она познала плоды дум и дел своих.

Волевые, бесстрашно верные себе ее элементы грозю и бурей воплощали прошлое ее в настоящее. «Монахи воинствующей церкви — революции», они не испугались никаких инквизиций для реализации «золотого сна». Но масса, но «армия» интеллигентская содрогнулась. Эти реальные образы жизни показались ей призраками страшными и безумными, и с ужасом отшатнулась она от них. Почувствовала, жизненно постигла всю ту бездну духовной опустошенности, в которой прежде видела высший закон мудрости. И когда погасли в ее сознании традиционные «светочи», ее ослеплявшие, — в наступившей тьме засияли светила подлинных и глубоких ценностей, ей прежде чуждых и далеких. На этот раз уже широкие массы ее и рядовые представители по-

знали необходимость того коренного «пересмотра идеологии», который за 10 лет был предрезан ее авангардом: — заговорила тоска по государству, тоска по отечеству, тоска по внутреннему, духовному содержанию жизни.

Но ее воплощенное прошлое не простило ее отступничества. Вызванное к жизни и к власти, в своеобразном единении с пробужденной народной стихией, оно потребовало ее к ответу. Произошла трагическая борьба, в которой восставшая против самой себя, против своей истории армия русской интеллигенции была разбита наголову. И вот снова она — словно в стане страждущих и гонимых, и опять ее жизнь — или мартиролог, или регистр каторги.

Но все же эти новые муки — объективно осмысленнее, хотя, быть может, внешне, материально они и более ужасны, а по обстановке своей более трагичны, чем прежние. Но эта трагичность — возвышающая, плодотворная. Уже нет в них той убийственной драмы, той безысходной внутренней порочности, пустоты, которая была в тех, в прошлых. Эти страдания — очищающие, эти жертвы — искупительные. Ими все мы, круговую порукою связанные русские интеллигенты, искупаем свою великую вину перед родиной. Ими мы воскреснем к новой жизни.

Поймем ли мы только это *до конца*? Удержимся ли от рецидива своих прежних настроений? Было бы верхом бессмыслицы и ужаса, если б в результате новой борьбы русская интеллигенция заболела своим старым радикализмом — дурною «революционностью наизнанку»! Если бы борьба в ее сознании, как прежде, превратилась в самоцель!..





ЕВРАЗИЙСТВО

Н. С. ТРУБЕЦКОЙ

Отношение евразийства и коммунизма

<Фрагмент>

Наконец, следует осветить еще один вопрос — вопрос о взаимоотношении между евразийством и большевизмом. Любители якобы «метких» словечек иногда пытаются охарактеризовать евразийство как «православный большевизм» или «плод незаконной связи славянофильства и большевизма». Хотя для всякого должна быть ясна парадоксальность этих *contradictio in adjecto*¹ («православный большевизм» есть «белая чернота»), тем не менее вопрос о пунктах соприкосновения и расхождения между евразийством и большевизмом заслуживает более внимательного рассмотрения.

Евразийство сходится с большевизмом в отвержении не только тех или иных политических форм, но всей той культуры, которая существовала в России непосредственно до революции и продолжает существовать в странах романо-германского Запада, и в требовании коренной перестройки всей этой культуры. Евразийство сходится с большевизмом и в призыве к освобождению народов Азии и Африки, поработанных колониальными державами.

Но все это сходство только внешнее, формальное. Внутренние движущие мотивы большевизма и евразийства диаметрально противоположны. Ту культуру, которая подлежит отмене, большевики именуют «буржуазной», а евразийцы — «романо-германской»; и ту культуру, которая должна встать на ее место, большевики мыслят как «пролетарскую», а евразийцы — как «национальную» (в отношении России — евразийскую). Большевики исходят из марксистского представления о том, что культура создается определенным классом, евразийцы же рассматривают культуру как плод деятельности определенных этнических единиц, нации или группы наций. Поэтому для евразийцев понятия «буржуазной» и «пролетарской» культуры, в том смысле, как

их употребляют большевики, являются совершенно мнимыми. Во всякой социально дифференцированной нации культура верхов несколько отличается от культуры низов. В нормальном, здоровом национальном организме различие это сводится к различию *степеней* одной и той же культуры. Если при этом верхи называть «буржуазией», а низы — «пролетариатом», то замена буржуазной культуры пролетарской сведется к снижению уровня культуры, к опрощению, одичанию, которое вряд ли можно выставлять как идеал. В нациях нездоровых, зараженных недугом европеизации, культура верхов отличается от культуры низов не столько количественно (степенями) сколько качественно: т. е. низы продолжают жить обломками культуры, некогда служившей нижней степенью, фундаментом туземной национальной культуры, а верхи живут верхними степенями другой, иноземной, романо-германской культуры; в промежутке между низами и верхами помещается слой людей без всякой культуры, отставших от низов и не приставших к верхам именно в силу качественной разнородности обеих культур, сопряженных в данной нации. Вот применительно к таким нациям (к числу которых принадлежала и послепетровская дореволюционная Россия) можно говорить о желательности замены культуры верхов культурой низов, но и то лишь метафорически. На деле при этом должен мыслиться не переход верхов к культуре низов, неизбежно элементарной, а к созданию верхами новой культуры с таким расчетом, чтобы между ней и культурой низов различие было не качественное, а в степенях. Только при этом условии упразднится бескультурность средних слоев нации и национальный организм станет культурно-цельным, здоровым и способным к дальнейшему развитию в целом, как в своих верхах, так и в низах. Это именно то, что проповедует евразийство. Но ясно, что при этом речь идет об изменении не классовой, а этнической природы культуры.

Находясь всецело во власти марксистских схем и подходя к проблеме культуры исключительно с точки зрения этих схем, большевики, естественно, оказываются совершенно неспособными выполнить то, что они затеяли, т. е. создать на месте старой культуры какую-то новую. Их «пролетарская культура» выражается либо в одичании, либо в какой-то пародии на старую, якобы буржуазную культуру. И в том и другом случае дело сводится к простому разрушению без всякого созидания. Новой культуры никак не получается, и это есть лучшее доказательство ложности самих теоретических предпосылок большевизма и невыполнимости самого задания «пролетаризации культуры». Понятие «пролетарской культуры» неизбежно бессодержательно, ибо самое понятие пролетариата, как

чисто экономическое, лишено всяких других признаков конкретной культуры, кроме признаков экономических. Совершенно иначе обстоит дело с понятием национальной культуры, ибо всякая нация, являясь фактической или потенциальной носительницей и создательницей определенной, конкретной культуры, включает в самом своем понятии конкретные признаки элементов и направлений культурного строительства. Поэтому новая культура может быть создана только как культура особой нации, до сих пор не имевшей самостоятельной культуры или находившейся под подавляющим влиянием иностранной культуры. И противопоставиться может эта новая культура только культуре иной нации или иных наций.

Из всего этого вытекает, что, если общими задачами большевизма и евразийства является отвержение старой и создание новой культуры, то большевизм может выполнить только первую из этих двух задач, а второй выполнить не может. Но выполнение одной задачи разрушения без одновременного созидания, разумеется, не может привести к благим результатам. Прежде всего, разрушитель, имеющий неясное или превратное представление о том, что на месте разрушенного должно быть воздвигнуто, непременно разрушит или постарается разрушить то, что надлежало бы сохранить. А кроме того, когда темп разрушения значительно быстрее созидания или когда за разрушением никакого подлинного созидания не следует, нация оказывается на долгое время в состоянии бескультурности, которое не может не отражаться на ней губительно. Таким образом, даже несмотря на то, что разрушительная работа большевиков часто направлена именно на те стороны привитой к России европейской культуры, которые и евразийцы считают подлежащими искоренению, евразийство все же не может приветствовать этой разрушительной работы. Что же касается до большевистских попыток творчества, то эти попытки вызывают в евразийстве самое отрицательное отношение, так как они либо проникнуты марксистским утопизмом, либо направлены к пересадке на русскую почву еще новых элементов романо-германской цивилизации, притом большей частью элементов наименее для евразийства приемлемых и носящих явные признаки вырождения и упадка романо-германской цивилизации*.

* Единственная область творчества, которая для большевиков, как партии, является действительно жизненно необходимой, есть область управления. Так как вызванный предвзятыми утопическими теориями неудачный шаг в этой области мог бы повлечь за собой падение их власти, большевики как раз в области управления менее всего руководствуются своими теориями и стараются быть только практиками. Кое-какие изобретения их в этой области, несомненно, удачны и имеют виды на будущее.

Из всего только что сказанного явствует, что и в вопросах об отношениях России к народам романо-германского мира сходство между большевизмом и евразийством является только внешним. Евразийство призывает все народы мира освободиться от влияния романо-германской культуры и вновь вступить на путь выработки своих национальных культур. При этом евразийство признает, что влияние романо-германской культуры особенно усиливается благодаря экономическому господству так называемых «цивилизованных» над «колониальными» народами и потому призывает к борьбе за освобождение и от этого экономического господства. Но эта экономическая эмансипация представляется евразийству не как самоцель, а лишь как одно из неперенных условий освобождения от романо-германской культуры, освобождения, которое немыслимо без одновременного укрепления основ национальной культуры и дальнейшего самостоятельного развития этой последней. Большевики во всех этих вопросах преследуют прямо противоположные цели. Они только играют на националистических настроениях и самолюбиях азиатских народов и рассматривают эти чувства лишь как средства для поднятия в Азии социальной революции, которая должна не столько упразднить экономическое засилье «цивилизованных» держав, сколько способствовать водворению коммунистического строя с той особой «пролетарской» культурой, которая по существу антинациональна и построена на самых отрицательных элементах той же европейской цивилизации, доведенных до карикатурной крайности. Под личиной поощрения азиатского национализма в большевизме скрыто то же нивелирующее, «цивилизаторское» культуртрегерство, и притом в гораздо более радикальной форме, чем у романо-германских колониальных империалистов. Не к созиданию подлинно национальных культур, преемственно связанных с историческим прошлым, а к национальному обезличению и разрушению всяких национальных основ хотят большевики привести все народы Азии и Россию.

Резюмируя, можно сказать, что большевизм есть движение разрушительное, а евразийство — созидательное. Оба движения полярно противоположны, и никакое сотрудничество между ними немыслимо. Эта противоположность между большевизмом и евразийством не случайна, а коренится в глубинной сущности обоих движений. Большевизм — движение богоборческое, евразийство — движение религиозное, богоутверждающее. Есть глубокая внутренняя связь между воинствующим отрицанием Творца и неспособностью к подлинному, положительному творчеству, между кощунственным отвержением божественного Логоса и рационалистическим утопизмом, противоречащим естественной

природе жизни. Но природа не допускает чистого разрушения. Она властно требует творчества, и все, неспособное к положительному творчеству, рано или поздно обречено на гибель. Большеvizму, как всякому порождению духа отрицания, присуща ловкость в разрушении, но не дана мудрость в творчестве. А потому он должен погибнуть и смениться силой противоположной, богоутверждающей и созидательной. Будет ли этой силой евразийство, — покажет будущее. Но, во всяком случае, ни реставрационная идеология, подменивающая творчество починкой и восстановлением разрушенного в его старом виде, ни народничество, столь же слепое, как и большеvизм, к Богом установленным положительным задачам культурного строительства и столь же зараженное упадочными идеологиями вырождающейся европейской цивилизации, признаками подлинного положительного творчества не обладают.

Положительное значение большеvизма может быть в том, что, сняв маску и показав всем сатану в его неприкрытом виде, он многих через уверенность в реальность сатаны привел к вере в Бога. Но, помимо этого, большеvизм своим бессмысленным (вследствие неспособности к творчеству) ковырянием жизни глубоко перепахал русскую целину, вывернул на поверхность пласты, лежавшие внизу, а вниз — пласты, прежде лежавшие на поверхности. И, быть может, когда для созидания новой национальной культуры понадобятся новые люди, такие люди найдутся именно в тех слоях, которые большеvизм случайно поднял на поверхность русской жизни. Во всяком случае, степень пригодности к делу созидания национальной культуры и связь с положительными духовными основами, заложенными в русском прошлом, послужат естественным признаком отбора новых людей. Те созданные большеvизмом новые люди, которые этим признаком не обладают, окажутся нежизнеспособными и, естественно, погибнут вместе с породившим их большеvизмом, погибнут не от какой-нибудь интервенции, а от того, что природа не терпит не только пустоты, но и чистого разрушения и отрицания и требует созидания, творчества, а истинное, положительное творчество возможно только при утверждении начала национального и при ощущении религиозной связи человека и нации с Творцом Вселенной.

1925 г.

